

ЛЕОПОЛЬД ФОН
ЗАХЕР-МАЗОХ

✦
Губительница душ
✦



18+

✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Леопольд Захер-Мазох

Губительница душ

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.112.2-31(436)
ББК 84(4Авс)-44

Захер-Мазох Л. ф.

Губительница душ / Л. ф. Захер-Мазох — «Издательство АСТ»,
2026

ISBN 978-5-17-187920-4

Повесть «Губительница душ» погружает читателя в мрачную историю одной из русских религиозных сект XIX столетия. В центре повествования – загадочная Эмма Малютина, ослепительно красивая, но властная, холодная и жестокая. Получив задание заманить в секту богатого дворянина, Эмма без труда подчиняет его своей воле... В издание вошли несколько повестей и рассказов, в том числе «Гайдамак», «Крестьянский суд», «Страшное испытание», «Грешница» и другие произведения.

УДК 821.112.2-31(436)
ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-187920-4

© Захер-Мазох Л. ф., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Старый служака[1]	7
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Леопольд фон Захер-Мазох

Губительница душ

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *



Губительница душ



Издательство АСТ
Москва

Старый служака¹

Кому случалось плыть в легкой гондоле по безмятежному морю, среди играющей стихии, оставляя за собой обрисовывающийся вдали в виде тени берег твердой земли и острова, смотреть с тревогою в сердце на расстилающееся над ним небо – это второе море с волнообразными облаками, – тому знакомо отчасти то чувство, которое я испытал, несясь в легких санях по равнинам Галиции, представляющимся зимой в виде снежного океана. Они одинаково влекут к себе – и океан, и равнина, – наполняя нашу душу чувством грусти и неопределенными стремлениями. Только бег в санях быстрее, он напоминает собою полет орла – тогда как лодка в воде переваливается словно утка в воздухе, – а цвет бесконечной равнины и ее мелодии более строгого, мрачного и угрожающего характера; природа является тут во всей своей наготе, а борьба за существование и смерть подходят к вам ближе; вы чувствуете это по окружающей вас атмосфере, по тем звукам, которые вам слышатся.

Меня выманил из комнаты светлый зимний день, или, лучше сказать, вечер. Мне захотелось покататься; моя лошадь заболела – не всякая лошадь может выдерживать безнаказанно езду по снегу; я позвал Мауше Леб Каттуна, старшего господского кучера, и велел ему заложить в мои сани его лошадей, на которых можно было вполне положиться. Погода стояла великолепная, в воздухе было тихо, легкие испарения земли не колебали золотых солнечных волн. Воздух и свет соединились в одну стихию. И в деревне царила тишина, не слышно было ни одного звука, по которому можно бы было догадаться, что в крытых соломою хижинах есть жители; одни только воробьи стайками летали по заборам и чирикали.

Поодаль стояли маленькие сани с хромою клячей, не больше жеребенка, на которой крестьянин вез из лесу дрова, а еще далее его полузрелая дочка кричала ему что-то, пробираясь босыми ногами через высокие сугробы снега за маленьким поленом, которое он обронил.

Когда мы, звеня колокольчиками, взлетели на обнаженную гору, перед нами открылась необозримая равнина. Ее горностаевый зимний наряд придавал ей необыкновенное величие. Он одевал ее всю; только голые стволы невысоких ив да видневшиеся вдали длиннорукие степные колодцы вместе с двумя как будто бы затерянными, закоптелыми хижинами, чернелись на ее снежной шубе.

Мауше Леб Каттун вздрогнул и вскрикнул. Первый взгляд на равнину произвел на него действие быстрого яда; его палестинская фантазия начала выражаться библейскими фразами, в одно мгновение она перенесла его из страны пушных зверей в страну пальм и кедров; он бросился на козлы как в лихорадке; он отрывал в своем мозгу тысячи образов для выражения того, что его мучило; он сыпал сравнения дюжинами, пока наконец я не велел ему замолчать. Тут он стал что-то бормотать. Не знаю, продолжал ли он разговаривать с самим собою, или молился, или наконец нашел желанное сравнение и углубился в ту бесконечную белую бумагу, на которой он записывает свои бесконечные счета – и все считает, все считает.

Мы летели по твердой, гладкой дороге.

Насупротив нас лежала господская усадьба, а за нею маленькая деревенька; все было посеребрено снегом; снег покрывал серебром жалкие свесившиеся кровли, выводил на стеклах маленьких окон серебристые узоры; каждый желоб, каждый колодец, каждое хилое деревцо были обвешаны серебряными кистями. Высокие валы снега окружали каждое жилище. Люди прорыли себе тут дорожки, словно барсуки или лисицы. Легкий дым, поднимавшийся из труб, как будто бы замерзал в воздухе. Большие серебристые тополи окружали господскую усадьбу.

¹ Эта повесть издана автором под заглавием: «Der Capitulant», т. е. солдат, выслуживший двойной или тройной срок службы, от слова «Capitulation», употребляющегося в Австрии с совершенно особенным значением – военных сроков.

Там и сям поднимались вверх пылинки инея, словно рои маленьких бриллиантовых мушек, и, сверкая тысячью маленьких молний, точно миниатюрная буря, носились по воздуху.

В конце деревни полунагие крестьянские ребятишки с белыми головами и красными щеками возились в снегу. Они слепили из него болвана, которому воткнули в широкий рот длинную дудку, вроде того как дворяне курят трубку. Тут же на салазках сидел молодой крестьянин, а две хорошенькие крестьянки с длинными темными косами и полной грудью, поднимавшиеся под белую рубашкою, тянули его вперед напролом. Как они смеялись, уж как смеялись!.. И он хохотал как сумасшедший.

Мы неслись мимо леса.

Куда девалась его мелодия? Хриплым голосом твякает лисица и кричит галка. Пестро-красные листья все одинаково покрыты снегом. Лес и небо облиты розовым влажным паром. Перед нами теперь только засыпанные снегом холмы словно волны белого моря. Там, где белое небо глядится в него, оно блестит так ярко, что на него способен глядеть только тот, кто может смотреть на солнце. За нами деревня и алеющий лес, которые все более и более тонут в отдалении. Вот мелькнули последние вершины обнаженных гор, но и они потонули, как холмы и отдельные деревья. Перед нами только снег, за нами снег, над нами белое словно снег небо.

Мы движемся как во сне. Лошади плывут в снегу, сани неслышно скользят за ними. В стороне от нас пробежала по снежному полю маленькая серая мышка. Далеко и широко кругом не видать ни одной трубы, ни одного пня, ни одной кротовины, а она бежала с такой осторожностью, с таким усердием. Куда? Теперь она превратилась в маленькую черную точку, а там и эта точка исчезла, и мы опять остались одни. Мы как будто бы не двигались вперед. Ничто не изменялось ни перед нами, ни за нами, даже и небо. Безоблачное, одноцветное, словно вымазанное известкой, оно было неподвижно и даже не мерцало, оно как будто бы оцепенело. Только в воздухе все более вечерело, он становился резче, он резал, как стекло.

Мауше Леб Каттун недавно остригся; он схватил горсть снега и принялся тереть им себе ухо, которое закрыл потом наушником своей шапки. Кончилось тем, что наши сани остановились, подобно судну в море, которое в тихую погоду хотя и качается, но все-таки не трогается с места. Нам казалось, что мы только едем, но не двигаемся ни вперед ни назад – вроде того как, по нашему мнению, мы живем. Но живем ли мы? Разве *быть* не называется у нас *жить*?.. А в отношении того, кто перестал быть – разве не все равно как будто бы его никогда и не было?

Вот летит ворон с широкими черными крыльями, с раскрытым клювом. Он опускается на покрытый снегом холм. Уж не занесенный ли это снегом стог сена, где он чует мышей? Он не то летает, не то скачет вокруг него, он как будто бы хромает на лету, осматривает его со всех сторон, поднимается вверх и начинает клевать. Нет, это не сено, а падаль. А вот идет и волк с косматым затылком; он поднимает рыло и, втянув в себя воздух, рысью подходит к падали. Приблизившись к ней, он начинает ее обнюхивать, взглядывает на ворона, визжит и машет хвостом, как собака, которая нашла опять своего господина. Ворон стоит наверху, хрипло вскрикивая, махая крыльями и, по-видимому, совершенно счастливый. «Сюда, братец, тут хватит на нас обоих!» Как им весело, этим плутам!

Чем ниже опускается солнце, тем более оно представляется нам в виде блестящего, паробразного шара. Оно не заходит, а опускается в снег. Оно разливается, как растопленное золото; золотые волны доходят до нас; чудные, радужные тени пробегают по осыпанному серебром снегу. Вот оно погасает. Тысячи брошенных им огней сливаются, бледнеют. В воздухе еще носятся легкие, розовые пары, но и они расходятся; все становится бесцветно, холодно и неподвижно.

Не прошло нескольких минут, как нам навстречу поднялся холодный восточный ветер.

Вдали плыли сани; легкие волны воздуха доносили до нас жалобный звук их колокольчика, но потом и этот звук замер, поглощенный туманом, который все более и более увеличивался. Скоро стало совсем темно; беловато-серые облака неопределенных очертаний

обволокли все небо – какой страшный флот, парус на парусе! Ветер дует прямо в них, они надуваются, флот плывет – и он подходит к нам, да и мы въезжаем. Вечерние пары вспыхивают и разрешаются легкими тенями.

Еврей останавливает лошадей.

– Собирается буря, – говорит он с озабоченным лицом, – нас может занести снегом; отсюда ближе до Тулавы, чем до дому. Куда прикажете ехать?

– Разумеется, в Тулаву.

Он два раза щелкнул кнутом над головами своих лошадей.

Мы полетели дальше. Разорванные волны тумана шумели вокруг нас, словно птицы с большими усталыми крыльями. Вот каменный столб с изображением святого. Направо отсюда – дорога в Тулаву.

Уже ветер бьет нас по затылку обоими кулаками; он завывает ужасными, жалобными, безумными голосами; он бросается в снег, взрывает его, разбивает большие облака, бросает их наземь в виде пушистых охлопков и грозит засыпать нас ими. Лошади опускают вниз головы и тяжело дышат. Буря вздымает белые вихри, поднимающиеся до неба, выметает равнину, белым веником, собирает громадные кучи сора, под которыми погребает людей и зверей, целые деревни.

Воздух палит, как будто он накален. Он стал тверд; буря рвет его в куски, которые врываются в легкие вместе со дыханием и режут, как осколки стекла.

Лошади медленно и с трудом подвигаются вперед; им приходится бороться со снегом, воздухом и ветром.

Снег стал теперь стихией, которую мы переплываем с величайшими усилиями, которую мы вдыхаем, которая грозит нас сжечь. Среди самого страшного движения природа представляется оцепенелою и ледяною, а мы – частями всеобщего оцепенения и холода. При виде всего этого становится понятно, каким образом лед служит могилою допотопного мира, каким образом можно перестать жить, не умирая, не истлевая. Огромные слоны, колоссальные мамонты лежат под ним, не подвергаясь порче, словно в амбаре, пока трудолюбивые ученые не сварят себе из них супа. Вам приходят на ум допотопные обеды – и вы начинаете смеяться. Вас вообще разбирает смех. Ведь щекотка возбуждает в нас смех, а холод щекочет страшно, не переставая, безжалостно. Когда у мнимоумерших щекочут в носу, они начинают чихать и затем оживают. Все замерзает. Мысли виснут в мозгу в виде ледяных сосулек, душа облекается ледяным покровом, кровь падает в виде ртути. Нравственные правила являются чем-то вроде застывшего в наших волосах тумана. Все идет у нас наыворот. Как сердимся мы, когда гвоздь нейдет у нас в стену! Мы одним ударом сбиваем у него металлическую головку; мы бросим в угол узкий сапог, осыпая его самыми бранными словами. Тут же, когда нам приходится отстаивать свое существование, мы боремся терпеливо, безгласно, безропотно, чуть не равнодушно. Жизнь, которую мы так любим, оцепенела; а мы в этой борьбе стихий то же что один лишний камешек, кусочек льда, оцепенелый воздушный пузырь.

Мы щупаем свой собственный пульс как чужой. Белая завеса отделяет нас от наших лошадей; мы движемся в санях, как в лодке без весла, без паруса, – да они почти и не движутся.

Буря воет с прежним однообразием; воздух палит, снег кружится вихрем; пространство и время исчезают. Подвигаемся мы вперед или стоим? Ночь это или день?

Медленно тянутся облака к западу. Тяжело дышат лошади; вот они вынырнули с покрытыми снегом спинами – снег падает большими хлопьями, земля покрыта им на локоть от поверхности, но мы опять можем отличать окружающие нас предметы и двигаться. Буря еще не утихла, она с визгом бросается в снег; земля покрыта туманом, словно щебнем. Где мы?

Кругом все занесено: ни дороги, ни столба, ни деревянного креста, который указывал бы на нее; лошади вязнут в снегу, он доходит им до груди; отдельные затерянные звуки грозы слышатся вдали. Мы останавливаемся, опять пускаемся в путь, еврей счищает кнутовищем

снег со спины лошадей. Два ворона летят мимо молча, едва шевеля черными колями. Они исчезли за завесой падающего снега.

Лошади отряхаются и идут быстрее. Падающие хлопья снега стали легче, воздушнее. Но вдали все еще ничего нельзя видеть. Опять мы останавливаемся, советуемся.

Наступает ночь, мрак увеличивается. Еврей погоняет кнутом лошадей; отбиваемый их ногами такт становится быстрее. Что это за красная полоска там на горизонте? Едем туда! Теперь нам начинает казаться, как будто бы красный месяц упал на землю, лежит в снегу и гаснет; что это вспыхнуло и осветило темные тени?

– Это крестьянский караул у березового леска, – сказал еврей, – а за этим леском – Тулава.

Когда мы подъехали ближе, маленький березовый лесок стоял перед нами в виде темной стены, освещаемой местами сильно пылавшим огнем, который крестьянская стража старательно поддерживала. Огонь был расположен перед лесом в виде полукруга, так что ветер, ударявший там и сям в маленькие березки, гнал пламя наружу. Дым медленно тянулся к лесу и мало-помалу исчезал за деревьями.

Вокруг огня стоял теплый, сияющий пар. Расположившиеся там караульные вдруг встали, как тени. Еврей сделал им знак.

Они в одну минуту исчезли, исключая одного, который подошел к нам.

– Это Балабан, – сказал Леб Каттун. – Вы знаете его? Это старый служака.

Это был отставной солдат, полевой сторож Тулавской волости, чрезвычайно добросовестный человек, пользовавшийся особенным уважением в околотке. Я не раз о нем слышал, но мне до сих пор не представлялось случая познакомиться с ним, поэтому я и стал рассматривать его с особенным интересом. Его высокий рост и осанка, его голова, его свободные и вместе с тем умеренные движения поразили меня каким-то выражением твердости. Он поклонился вежливо, но без унижения.

– Не потерпели ли вы от грозы? – спросил он и взглянул на лошадей. – Я надеюсь, что кучер исполнил как следует свою обязанность.

Никакой дворянин не мог бы принять нас с большим достоинством и грацией. Он пригласил меня движением руки к огню.

– Лошади устали, они все в мыле, – сказал он, – да и темно; вам бы надо отдохнуть.

– Да мы затем и пришли сюда, – сказал я, потому что расположившееся у огня общество и старый служака заинтересовали меня. В это время к нему подбежал мальчик.

Служака ласково погладил его рукою по белой головке. Он казался совсем другим. Я понял, что это такой человек, которого сразу не узнаешь.

Караульные поднялись.

– Что вы тут делаете? – спросил я.

Все взглянули на старого служаку.

– Соседние помещики, – сказал он с важностью, – да и другие поляки едут сегодня в Тулаву. Разумеется, они посылали туда и гонцов, и письма; они ведь там условливаются. Иные едут без паспорта. Наша обязанность – смотреть за этим. Может быть, что-нибудь и откроется. Вот в чем дело-то.

– Да, мы стоим на карауле! – сказал мальчик.

– В такую бурю! – вскричал я.

– Это наша обязанность, – отвечал старый служака, – мы не пропустим их и в метель, если будем тут.

Он, стало быть, совершенно не понимал, что борьба стихий и опасность могли удержать его от исполнения того, что он называл своим долгом; это бросалось в глаза.

Он взял лошадей за гривы и подвез к огню сани, снял с них покрышку и разостлал ее для меня.

– Земля суха, – успокаивал он. – Мы тут с самого раннего утра и развели такой огонь, что на нем можно изжарить целого быка.

На несколько шагов кругом лежала зола, которая была еще тепла. Пламя вспыхивало вверх или рвалось в сторону. Снежные хлопья летали как бабочки и, опустив крылья, падали в огонь.

– И Завальские тоже едут, – заметил мальчик.

– Разумеется, все хорошенькие женщины не прочь от участия в революции.

– И она, барыня, тоже едет? – спросил еврей, барабана по плечу старого служаки.

– Я почему знаю?! – отвечал он, делая головою движение, как лошадь, которая хочет вспугнуть докучливую муху. В глазах его блеснуло что-то скрытое, необыкновенное, в то время как лицо его сохраняло то же самое выражение, что и прежде; но минуту спустя он уже пристально смотрел на дым, тянувшийся к березам.

Было совершенно тихо, только ветер слегка раздувал огонь.

Я лег и стал рассматривать своих соседей.

Я знал крестьянина, который стоял с косой на карауле в углу леса и от времени до времени подходил к огню больше для того, чтоб послушать, что там говорилось, чем погреться. Его звали Мраком; у него было одно из тех решительных, серьезных лиц, какие обыкновенно бывают у наших крестьян.

Другой, сидевший у огня подле меня, был неизвестен. Это был угрюмый малый в мохнатом сераке² мышинного цвета, на голове у него была маленькая шапка – из серых мерлушек; голова была у него чрезвычайно оригинальной формы – сверху узкая, внизу широкая, точь-в-точь парашют. Когда я взглянул на него сбоку, мне так и казалось, что он вырезан из старого картона. Нос у него был необыкновенно длинный, острый и тонкий; рот как будто бы провалился; а подбородок уходил в шею. Вообще в чертах его лица было что-то неловкое, а сам он – точно развинченный. Все эти недостатки отражались на его силуэте, который обрисовывался на снегу в таких преувеличенных размерах, что на него нельзя было смотреть без смеха.

Подле него лежал ничком маленький человечек, которого называли Юр Фетер Монгол. Недалеко от этих мест находится поле сражения, на котором больше чем за двести лет до этого орда татар потерпела страшное поражение. Опустошенные деревни населили пленными. Мне можно бы было биться об заклад, что наш Монгол происходит от которого-нибудь из них. Он вдвое меньше ростом, чем картонный человек, но маленький горшок всегда крепок. Стоило только взглянуть на его голый затылок, чтобы убедиться в его силе. Он лежал в полотняных панталонах и полотняном зипуне; его открытая грудь покоилась на горячей золе, а ноги в снегу. И ты тоже, брат Монгол, куда неказист! Как не клеятся у тебя эти широкие бедра и мощная грудь, а твое лицо – что у тебя за лицо! Что у тебя за жалкие маленькие дырочки для твоих живых, черных глаз и что за ужасные складки вокруг рта! При этом и глаза-то у тебя прорезаны как-то вкось, а приплюснутый наверху нос – с такими большими ноздрями, что одной из них было бы достаточно для помещения обоих твоих глаз. Зато ты желт, желт, как зависть, и надвигаешь на редкие, жесткие, как проволока, черные волосы свою суконную шапку вплоть до самых ушей.

Главным действующим лицом был, очевидно, старый служака Фринко Балабан.

Каких он был лет? Трудно было определить, но это был человек в истинном значении этого слова.

Человек, которого нельзя бы не заметить – как в шеренге, так и в общине, точно так же здесь у сторожевого огня крестьян. Коричневый, полинялый сюртук, подпоясанный черным кожаным поясом, выказывал стройность его стана и казался очень наряден. Он застегнул его доверху; на шее у него был его единственный полинялый старый галстук, а изношенные

² Серак – длинный крестьянский сюртук из грубого, мохнатого сукна с капюшоном.

синие солдатские панталоны были надеты по-городски, сверх сапог. За поясом у него висели табачный кисет из свиного пузыря (из которого он набивал маленькую трубочку) и длинный нож. Другие были вооружены косами и цепями, а у него на коленях лежало ружье. На груди у него были две медали за службу и ленточка. Круглая высокая баранья шапка придавала его изящной голове достоинство раввина и дикость янычара; вместе с коротко остриженными темными волосами она обрамила замечательное лицо – лицо с кроткими чертами, с правильным носом, прекрасно обрисованным ртом, покрытое тем прекрасным бронзовым цветом, следствием полевой службы, который вместе с двумя скорбными линиями рта и спадающими вниз усами налагает на наших солдат совершенно особенную печать. Но его честные глаза так ввалились под его густыми бровями, они были так влажны, словно наполненные слезами, смотрели так спокойно, так грустно, что больно было глядеть на них. Точно такое же впечатление производил и его голос. Такой твердый человек, такой солдат, а между тем все, что касается его внутреннего существа, звучит как разбитое: и звуки его голоса, и самая его речь, в которой слышится что-то однообразное, торжественное. Так могли говорить на кострах и на горячем песке арены христианские мученики.

А еще у этих крестьян была собака – обыкновенная крестьянская собака неопределенного цвета, с длинными темными волосами вокруг шеи и с прекрасной лисьей головой. Она спала, положив острую морду на передние лапы, на горячей золе, и тихо шевелила хвостом, когда грустный голос старого служаки достигал ее ушей.

Все караульные говорили тихо, важно; только один еврей болтал.

– А у меня есть для тебя жена, – поддразнивал он отставного солдата, – хорошенькая девушка – я ведь знаю, что ты стоишь за это. Право, хорошенькая и притом зажиточная, что тоже очень недурно. Что ты на это скажешь? Да она уж и спрашивала о тебе.

Он обвел глазами всех сидевших в кружке, но никто не обратил на него внимания. Леб Каттуну, по-видимому, только теперь припала охота поболтать. Он погладил Балабана по спине и вскричал:

– Господи боже мой, да ведь ты не хочешь жениться! – При этом он сощурил глаза и лукаво взглянул на крестьян. – Он поклялся – такой уж это человек, – он поклялся, что никогда не женится!

Старый служака так взглянул на него через плечо, что еврей, закашлявшись, пошел к саням и сел на козлы, обернувшись спиной к крестьянам. Здесь он поболтал несколько минут ногами, посчитал... помолился и наконец заснул. Произведенный им шум разбудил собаку.

– Смирно, Поляк! – закричал мальчик.

Лисья голова взглянула на старого служаку, но, не получив от него ответа, встала и, вытягивая задние ноги, приблизилась ко мне, обнюхала меня, подошла к саням, обнюхала лошадей. Они опустили к ней головы, она подняла к ним морду, слизала у них с рыла замерзлый пар, помахала хвостом, повизжала, ласкаясь к ним. Тут она подняла нос, сделала несколько шагов и подошла прямо к еврею, обнюхала его, обошла вокруг и подняла ногу – потом пошла против ветра, чихнула и возвратилась тихими шагами к огню, где и сунула свой нос в теплую золу.

– Там бежит какой-то человек! – вскричал крестьянин, стоявший на карауле в углу леса, и показал на видневшегося вдали человека. Мы все взглянули туда, только один старый служака спокойно остался на своем месте.

– Что это? – спросил он, поворачивая голову и улыбаясь. – Разве ты его не знаешь?

– Ах, да это Коланко, – сказал жалобным тоном картонный человек. При этом он почесал у себя за ухом и очень кисло взглянул на нас.

– Этого нам еще недоставало! – вскричал мальчик Юр, важно складывая на груди руки.

Старый служака сделал презрительное движение и обратился ко мне.

– Надобно вам знать, сударь, – сказал он важно, – что это за старик. Ему больше ста лет, странный человек, умный и опытный, только немного болтлив, а теперь стал точно дитя –

смеется без причины, да и плачет также без причины. Известное дело, старик – все равно что ребенок, а этому-то больше ста лет.

Но тут он сам подошел к нам и избавил таким образом старого служаку от объяснений; это был маленький человечек с трясущимися ногами и руками, со впалой грудью, желтой сухой шеей, старым желтым личиком, на котором не было ничего живого, кроме маленьких черных глаз, которые лежали в глубоких впадинах, но от которых тем не менее ничто не укрывалось.

На нем были еще совсем новые сапоги, теплые панталоны, длинный засаленный овечий тулуп, шапка из трехцветного кошачьего меха; он держал в руках пуховую подушку, покрытую какой-то материей с красными полосками, и так скоро говорил своим беззубым ртом, что его не всегда можно было понять.

– А что, выюны, выюны, поймал я вас! – вскричал он, лукаво смеясь, и стал жаловаться на что-то, чего я не понял, а потом начал хвалить старого служаку.

К нему он и подсел, и принялся рассматривать каждого из нас в лицо, по очереди, пока не дошел до меня; тут он вытянул свою сморщившуюся шею, приподнял брови, встал, поклонился три раза и сел на прежнее место.

– Вы, барин, не знаете, что со мною делается, – сказал он, хихикая и проглатывая каждое слово. – Видите ли вы, я старый человек, у меня все умерли. Как вы меня видите, я один что дитя в утробе матери. Прошлый год у меня был ворон; я думал, он останется со мною, а он взял да и улетел. Теперь у меня никого нет в хижине, кроме меня. Кто захочет оставаться со старым человеком!.. К тому же я еще и не сплю – это уж всегда бывает так, когда состаришься. Мне страшно одному ночью – да, да!.. – Он засмеялся так, что у него засвистело в носу. – Тут у тумана являются ноги, а у снега руки – и уж как он стучит ими в окно, а у месяца лицо и глаза, такие большие, как у сумасшедшего, и он такой дурак – начинает расспрашивать о всякой всячине... а мы почему знаем!

В эту минуту он сам был точно сумасшедший.

– Что ты станешь тут делать? Вот я всегда возьму, бариночек, да и уйду потихоньку и побегу туда, где я знаю, есть люди.

Старик занимал меня.

– А между людьми-то хорошо тебе? – спросил я.

– Да если посмотреть хорошенько, то мне и тут ужасно скучно.

Картонный человек взглянул на него с негодованием.

– Не то чтобы я осуждал их, – продолжал Коланко, – но нет ничего такого, об чем бы я уже не слышал. Я все знаю. А если и случится что новенькое, то кому какое дело, что Иван оказался еще глупее Василия – вздумал было сманить у него жену. Подите вы! Много вы знаете! Если кого стоит послушать, так только одного старого служаку, вот я и прибежал сюда к огню.

– Так тебе надоело жить? – спросил я его с некоторым любопытством.

– Разумеется.

– И ты желаешь умереть?

– Как умереть? Совсем по-настоящему, да?

– Что это значит – по-настоящему?

– Да так, чтобы человек совсем умер, а не так, чтобы он полежал несколько времени в земле, а потом собрал свои члены и стал опять жить.

– Он боится вечной жизни, – сказал картонный человек, обращаясь ко мне.

Мы все взглянули на старика. Я с напряженным вниманием слушал его, потому что наши крестьяне, не прочитавши ни одной книги, не умея держать в руках пера, тем не менее природные политики и философы. Это у них восточная мудрость, как у тех рыбаков, пастухов и уличных нищих в «Тысяче и одной ночи», к которым заходил Гарун аль-Рашид. Я готовился услышать нечто такое, что не каждый день слышишь, чего не вычитаешь из Гегеля и Молешотта.

– И какой, как посмотришь, толк в жизни-то? – заговорил старик тихо и внятно. – Вы, молодежь, можете желать жить. А кто, как я, видел все, что может человек видеть, все испытал, все вынес, что человек может вынести, тот, конечно... – Он погрузился в размышление.

– Ты еще бодр, – сказал я, – как ты думаешь, долго еще тебе придется жить?

– К сожалению, долго, – отвечал он. – Когда проживешь этак сотенку лет, то уж еще-то жить куда не хочется, бариночек. Так бы вот кажется, лег, да и заснул, и все спал бы, все спал бы, да так, чтоб уж не проспать. – Он погрузился в думу. – С небом, бариночек, плохие шутки. Тут на земле все, что только живет, – зверь ли, человек ли, все бьет из-за того, чтобы прожить подольше, чтобы поживиться на счет другого, а пожалуй, и убить его для этого, – а там станут будто бы кормить даром столько лентяев! Поэтому-то, по моему мнению, лучше всего, если человек будет весел в труде – это его назначение; а то кто же перенесет его туда, чтобы показать ему, что случится после него? Так написано, слово в слово.

– Лучше всего, если человек будет весел в труде! – вскричал старый служака. – Человек должен исполнять свои обязанности. Это лучше всего. Чего же нам еще надо на этом свете?

Но меня больше интересовал старик, чем старый служака.

– Послушай, братец, – сказал я, обращаясь к нему, – так тебе хотелось бы умереть навсегда? Смерть нисколько не пугает тебя?

– Как же, барин, как же! – отвечал он с лукавым смехом и кивая. – Я ужасно ее боюсь.

– Как так?

– А видишь ли как: пока я живу, у меня все еще есть надежда, что рано или поздно, а уж это кончится; не правда ли?

И он глядел на меня своими маленькими серыми глазками, как будто бы хотел проникнуть мне в душу.

– А когда придет смерть – эта минута, которую я жду вот уже с лишком сто лет, – и вслед за этим я опять оживу... пропал, совсем я тогда пропал!

Все засмеялись.

– Взгляните, пожалуйста, на меня, барин! – продолжал старик. – Я ведь не какой-нибудь отчаянный, не бездомовник, не бродяга, а между тем жизнь мне страшно надоела, просто опостылела; видите ли, это такое открытие, которое не замедлит сделать всякий, кто только хоть немножко поразмыслит о себе. Когда кто-нибудь повесится или как-нибудь иначе убьет себя, люди удивляются: «Как могло это с ним случиться?» Как? Этого не могло не случиться.

На одну минуту все смолкло, огонь продолжал гореть, дым медленно тянулся к березовой рошце. Ветер совершенно утих.

Столетний человек взглянул на старого служаку.

– Вот и этот из таких же, – прошептал он, – неправда ли?

Голова старого служаки опустилась на грудь, он промолчал.

– Да расскажи же нам что-нибудь, Балабан!

– Расскажи, братец, – сказал я. – Говорят, что ты хорошо рассказываешь.

Старый служака грустно улыбнулся.

– Что вы хотите, сказку? – спросил он.

– Нет, что-нибудь такое, что случилось с тобою.

Старик кивнул в знак согласия.

– Да, он знает больше всех на свете, – прохрипел он.

Старый служака тихо провел рукою по лбу.

– Что мне рассказать?

Картонный человек вытянул шею и сверкнул своими крошечными глазками.

– На что это намекал еврей? – спросил он.

– А, это целая история, – возразил тихим голосом старый служака, посмотрев на огонь, и лицо его покрылось скорбью.

– История? – спросил с любопытством Коланко.

– Да, история, каких много, – пробормотал старый служака.

– Да? – спросил старик.

– Старая и нисколько не интересная история.

– Это любовная история, – стыдливо и вполголоса сказал картонный человек и взглянул исподлобья, как бы со страхом, на отставного солдата.

– Наверное, что-нибудь необыкновенное! – вскричал Коланко.

– И не необыкновенное, – отвечал старый служака. – Такое, что случается каждый день. Я расскажу – так как и барин тут же, – лучше я расскажу про Венгерскую кампанию. Итак, мы шли...

– Неужели ты опять заставишь нас маршировать из Дуклы в Каршау? – прервал его старик. – Ведь это будет в седьмой раз. Лучше уж расскажи про что-нибудь другое.

– Расскажи нам историю – ту... – начал картонный человек.

– Какую это историю?

– Да о Катерине Баран – о барыне, – сказал картонный человек не то чтобы громко, но с каким-то горьким презрением, и в его глазах вспыхнуло то враждебное чувство, которое питает наш крестьянин в отношении к дворянству.

– Ты знал ее? – спросил старый служака, не поднимая глаз.

И он замолчал.

Никто не решился заговорить.

– Я ее знал.

Его голос дрожал так грустно, как последний звук наших народных песен. Он медленно поднял голову, его лицо было бледно, а большие глаза смотрели спокойно и мечтательно.

– Теперь он расскажет, – прошептал Монгол и тихонько толкнул в бок картонного человека.

Все приготовились слушать. Мрак, который в качестве сторожа ходил взад и вперед, остановился и оперся на косу.

– Когда это именно я увидел ее в первый раз? – начал старый служака. – Да, это было в ольховой рощице под Тулавой, она собирала там орехи и занозила себе ногу; заноза была такая длинная, острая. Катя сидела там на меже и плакала, она была такая хорошенькая и так горько плакала, что мне стало жаль ее. Я подошел к ней и спросил: «О чем ты плачешь?»

Она, ничего не отвечая, стала было выдергивать занозу и еще сильнее зарыдала.

Тут только я заметил, что мучит мою птичку, нагнулся к ней и сказал: «Погоди, уж я помогу тебе». Она перестала плакать, протянула мне без церемонии ногу и сверкнула на меня глазами сбоку. Я сию же минуту выдернул ее, занозу-то, а когда я ее выдергивал, Катя только слегка пошипела, а потом сдернула на лицо свой головной платок, вскочила и убежала, не поблагодарив меня.

После этой истории как она завидит меня, бывало, хоть издали, то сию же минуту пустится от меня бежать, словно от чудовища, от гайдамака. А уж как я-то, бывало, радуюсь, когда встречаюсь с нею.

Раз я возвращался с ярмарки; воз был такой тяжелый, я шел подле лошадей; смотрю, а она стоит за забором – как только я заметил ее, она сию же минуту присела, сверкая на меня через прутья своими черными глазами, как кошка.

«Зачем ты прячешься, Катя? – вскричал я. – Я ничего тебе не сделаю». И я в ту же минуту остановил лошадей.

Но девушка не шелохнулась.

«И чего это ты, – продолжал я, – всегда бегаешь от меня? Я не бегаю за тобою».

Тут она опять показалась, держа руку перед глазами, и засмеялась, плутовка. И что это был за смех и какие зубы – точь-в-точь белые, как кораллы!

«Ты с ярмарки, Балабан?» – спросила она, застыдившись.

«С ярмарки, Катерина», – вежливо отвечал я.

«Ах, как бы мне хотелось так же поездить по свету, как ты!» – сказала она.

«Куда же ты тогда поехала бы, Катерина?»

«Куда! Разумеется, на ярмарку и во все города – посмотрела бы их и Черное море, но прежде всего Коломью», – сказала она.

«Ты еще никогда не была в Коломые?» – спросил я.

«Никогда».

«Никогда?»

«Я не видала еще ни одного города, – продолжала она, смело глядя на меня. – Правда ли это, что там два и даже три дома стоят один на другом? А дворяне разъезжают в ящиках? А у этих ящиков по четыре колеса? А один дом весь как есть набит солдатами?»

Я объяснил ей все это, а она все продолжала расспрашивать; она тогда ничего этого не понимала. Я не мог удержаться от смеху, такие она смешные вопросы задавала. Она с испугом взглянула на меня и вдруг спрятала голову под мышку, словно курочка. Солнце только что закатилось, я как будто бы теперь вижу все это: улицу, забор и хорошенькую девушку. Небо за нею было как растянутое, ярко-красное сукно. Я не мог смотреть туда, схватился одною рукою за телегу, а другою водил по песку кнутовищем.

В следующее за тем воскресенье я встретился с моей Катериной – извините, я говорю «с моей Катериной» – такая глупая привычка. Хорошо, я встретился с ней в церкви, усердно молился и посматривал на нее только по временам. Когда стали выходить из церкви, то подле святой воды сделалась просто давка; я принялся работать локтями и принес моей хорошенькой Катерине святой воды в своей горсти. Она улыбнулась, окунула свои пальцы, перекрестилась, а потом плутовка окропила ею меня и убежала прочь.

С этих пор мысль о ней ни на минуту не покидала меня. Вот-то было мое горе. Я только и думал о том, как бы встретиться с нею, но так, чтобы это выходило как будто бы она сама попалась мне навстречу. Ах, господи, самая обыкновенная любовная история!..

Однажды мне пришлось работать на барском дворе; я встретил ее, когда она выходила из дому. Наш помещик сидел у окна, так, в халате, и курил из чубука. Катерина отыскивала какое-то дело подле меня; но я делал вид, что не обращаю на нее внимания.

«Я уйду, Балабан», – сказала она несколько минут спустя.

«Это хорошо, что ты уходишь, – сказал я вполголоса. – Чего тебе надобно на господском дворе? Тут не годится быть такой молоденькой, хорошенькой девушке, как ты».

Катерина покраснела не то от гнева, не то от стыда.

«Тебе что за дело?» – спросила она, не глядя на меня.

Я смутился, совершенно смутился.

«Что мне за дело до тебя?.. – сурово отвечал я. – Черт вмешивается всюду – и мне жалко всякого, кто только живет на этом свете».

«Я бедная девушка, – сказала она, – кто мне что даст? Кто женится на мне? А ведь я волею-неволею, а все-таки живу, и меня радует то же самое, что радует и других женщин. Я могу себе что-нибудь заработать на барском дворе: новый платок на голову, или хорошенькие кораллы, или даже шубу».

«Зачем тебе кораллы? – сказал я. – Или...»

«Так я никому не понравлюсь!» – с жаром вскричала она.

Я уже был влюблен в нее до последней степени возможности. Теперь я узнал, что мне нужно делать. Я вспомнил старинные истории и песни, где рассказывается о том, как царь приобрел расположение царевны, а бедный рыбак расположение рыбачки прежде всего подарками, и стал откладывать грош за грошом до тех пор, пока не наступило Крещение.

Тут-то вечером я прежде всех вычернил себе лицо. Я достал себе от дьякона красную пелену – из этого вышла мантия, и сделал корону из золотой бумаги. Я исполнял роль черного короля, а белых королей представляли два моих приятеля: Яван Степнук и Пацарек, тоже очень хорошо наряженные; а мой двоюродный брат Иосиф, у которого лицо было изрыто оспою, был нашим служителем, настоящим мавром.

Этот нес подарки. Вот мы и отправились в путь; мы, восточные мудрецы, храбро пели нашу песню.

Не успели мы взойти к Катерине, как девушки вспорхнули, словно стая куропаток, и принялись кричать; но старик, ее отец, улыбнулся и снял с полки водку, чтобы угостить нас. В то время как другие пили с ним, я вежливо взял Катерину за руку, поклонился ей и сказал:

«Привет тебе, цветок Запада. Мы, восточные короли, пришли в эту землю, где услышали о твоей красоте и честности. Мы вошли в твою хижину, чтобы преклониться пред тобою и поднести тебе подарки».

Тут я сделал знак рукою брату Иосифу, нашему черному служителю, вынул из своей торбы большой красный платок и поднес ей, потом три нитки больших красных кораллов – и тоже поднес ей.

Я купил это в Коломые на свои собственные деньги.

Моя Катерина в смущении опустила голову, покраснела, как цветок, и спрятала обе руки между коленями, но глазами она как будто бы хотела съесть и платок, и кораллы, и я потихоньку подвел ее к лежанке, положил ей на колени подарки. Уж как мы тут хорошо говорили!

«Прекрасная царевна, – сказал я, – через год я принесу тебе соболью или горностаевую шубку, какую прикажешь».

«Великий царь мавров, – отвечала она, – я не царская дочь, а крестьянская; с меня довольно и овечьей шубы».

«Ты прекрасна, как царская дочь, – возразил я ей на это, – это истинная правда. У нас другой свет, другой народ, другая земля: у каждого человека по сто жен, а у короля – тысяча; но я знаю только одну женщину, которую желал бы иметь женою на всю жизнь».

Другие веселились, прыгали и кричали, а Пацарек молодецки поднял мою Катерину со скамейки и кубарем завертелся с нею, а я сидел, не трогаясь с места, смотрел на них – и вот с этого-то времени у меня тогда и стало болеть сердце. Свет стал мне казаться ужасно чудным. Как есть люди, которые ничего не видят ночью, так и я вдруг среди белого дня делался словно слепой; я как будто бы смотрел только в самого себя, а ночью я вдруг становился зрячим и видел вокруг себя, в лесу и в поле, удивительные явления. Я видел в воздухе, воде и месяце то, чего никто другой не видел, слышал то, чего никто не слышал, и чувствовал... много, много лет прошло после этого, а я все еще не нашел такого слова, которым мог бы выразить то, что я тогда чувствовал. Сердце мое то сжималось, то ширилось, то млело, то останавливалось. Глупость!

Старый служака грустно улыбнулся и покачал головою.

– Через два дня после Крещения я встретился на дороге с Катериною.

«Вымыл ли ты себе лицо щелоком?» – закричала она мне еще издали и так плутовски засмеялась при этом.

Я хотел схватить ее, но она и на этот раз убежала от меня.

Уж какие мы стали вести длинные разговоры, когда, бывало, встретимся, да я, кроме того, навещал ее и в ее хижине. Вот соседи-то и заговорили.

«Знаешь ли ты, что говорят люди?» – сказал я Катерине.

«Я почему знаю!»

«Они говорят, что ты моя возлюбленная».

«А разве это не правда? – спросило бедное дитя и с удивлением взглянуло на меня. – Разве ты не подарил мне платок и кораллы?»

Я ничего не отвечал.

Действительно, все говорили это – и всякий сторонился от нас.

Скоро это и перестало быть ложью, – сказал тихим голосом старый служака и, словно стыдась, устремил глаза на тлеющую золу, по лицу его разлилось какое-то спокойное сияние, а глаза словно засветились.

Я взглянул на крестьян: Коланко следил за ним, сдвинув брови и сжав губы, картонный человек и Юр сидели рядом, прислонившись друг к другу словно снопы, Монгол лежал на золе, как рыба на песке, и слушал с напряженным вниманием, едва переводя дыхание.

– Это была чудо какая хорошенькая девушка, – заметил картонный человек, обращаясь ко мне. – И что за гордая женщина из нее вышла, настоящая барыня! Походка у ней, братцы мои, что у царицы, а хороша она, что твой белый день.

– И теперь еще?

– И теперь.

– Я раз поцеловал ей руку! – вскричал с сияющими глазами мальчик. – Она сняла перчатку и дала мне поцеловать свою руку... и что это за рука – беленькая, полненькая, чудо, а не ручка!

– Это была чудо какая хорошенькая девушка, – повторил старый служака, – работящая, веселая, на работе она пела, а уж как танцевала! На каждое ваше слово она, бывало, сию же минуту найдет ответ и, словно колдунья, знает все, что делается у вас на сердце.

Росту она была выше среднего; у нее были темные волосы и такие славные голубые глаза, мерцающие, удивленные, застенчивые, словно у зверка. Когда она глядела на меня, этот взгляд пронизывал меня всего. У нее была такая благородная, если можно так выразиться, голова. У помещика в саду стояла каменная женщина, то есть женщина из камня, богиня, что ли. У Катерины была такая же благородная голова, такие же строгие черты лица. Чудная женщина, веселая, словно льющаяся с вершины горы вода! Мудрено было не полюбить ее. Я любил ее больше всего на свете. Я мог говорить с нею как с матерью, я мог все сказать ей, все доверить без страха, без стыда. Сидит она, бывало, словно святая, тихо, серьезно – так бы вот, кажется, и стал молиться на нее, и я так сказать исповедовал ей все, что только было у меня на сердце. Ей был известен каждый уголок души моей. Она да Господь знали все мои мысли. А она – она была для меня словно родное дитя, словно взятая из гнезда птичка, которую я приручил. Стоило мне только взглянуть на нее – и она уже знала, о чем я думаю, чего хочу.

Когда она начнет, бывало, целовать меня, я словно купаюсь в меду, а тут она еще возьмет да и укусит меня, точно змея. Я был счастлив... – Он улыбнулся. – То есть это я теперь, когда думаю об этом, вижу, что я был счастлив; тогда я не сознавал этого. Но чтобы это могло когда-нибудь перемениться – этого я не мог и представить себе.

Вот, скажу я вам, опять пришла весна. С некоторого времени я начал замечать перемену. Катерина как будто бы немного вздернула носик.

Раз вечером привожу я поить лошадей. Это было у колодца за ивами. Она не шла. Это еще в первый раз пришлось мне ждать ее. Вдруг она показалась на лугу, нарядная, что твоя птичка, с ведрами на плечах. Она пела; вот эта песенка, я как теперь ее слышу:

В храм иду – молитву шепчу,
В храм иду – милого ищу.
Перед образами встану в тиши,
На священника гляну раз, а на милого – три.

Она так весело пела, ликовала, словно жаворонок, а меня разбирала грусть. Уж как я целовал ее, как обнимал ее!.. Я не сказал ей ни одного худого слова – а она ничего не могла мне сказать хорошего, поскорее нагнулась, наполнила свои ведра, я подал их ей, она повесила их на коромысло и опять села.

«Что же будет? – сказала она, играя носком ноги в воде. – Не могу не признаться тебе: барин гоняется за мною».

«Барин?» – спросил я, почти испугавшись.

Она слегка кивнула.

«Он называет меня своей любушкой, берет меня за талию, а раз даже поцеловал меня». Я рассердился и топнул ногою.

«Только смотри, не прибай меня! – вскричала она. – Он сулит мне хорошие платья, дорогие камни, а теперь у меня часто не на что купить ленточки; я могла бы ездить в его карете с четырьмя лошадьми, как какая-нибудь барыня, но я этого не хочу».

Она все еще не смела поднять глаз.

«Взгляни на меня», – сказал я.

Она повиновалась, но глаза ее были такие испуганные, такие странные.

«Я не слушаю, когда он со мною говорит, – с живостью продолжала она, – да еще грожусь побить его, когда он вздумает целовать меня».

«Так он целовал тебя, – сказал я, – а ты его не побил?»

«Я не хочу его! – вскричала она опять. – Он это знает и мстит нам за это. Мой отец никак теперь не угодит ему; он отнимет наше хозяйство и выгонит нас из деревни, как воров, как нищих».

«Этого он не смеет, – успокаивал я ее. – Перестань трусить. Где Бог благословляет, там черт ничего уж не может сделать. Не бойся, моя душечка, моя милушка, моя перепелочка! Разве ты не любишь меня? Держись крепко – и все пройдет».

Тут она принялась плакать, да так жалобно, что у меня разрывалось сердце.

«У меня не хватит сил!» – вскричала она.

В эту минуту из зеленой травы поднялся жаворонок.

«Жаворонок летит, – сказала она, – он летит в небо... О, если б я могла улететь с ним».

«Пожалуйста, не говори глупостей! – вскричал я. – Останься со мною».

«Этого не будет, – возразила она, вздыхая и утирая слезы. – Я не выдержу».

Лошадь дернула меня, как будто бы хотела мне что-то сказать; я погладил ее, и у меня выступили на глазах слезы.

«Как же тебе быть? – сказал я. – Никто не может идти против своей натуры».

Катерина тем временем рассматривала себя в воде. О, как она была хороша! Ее лицо выглядывало из качающегося зеркала словно лицо русалки, против которой никто не устоит.

«Останешься ли ты мне верна?...» – спросил я ее тихонько.

Мною овладела ужасная тоска, я боялся потерять ее, расстаться с нею. Я готов был на коленях просить ее: «Останься со мною!» Но... пусть Господь Бог ее простит.

«Я не оставляю тебя! – вскричала она и упала мне на грудь. – О, если б я была хороша, как светлая утренняя заря, я сияла бы над всеми полями, никогда не потухала бы, а то я не знаю, что ему во мне нравится: мы гораздо больше подходим друг к другу, я и ты. Не правда ли, Балабан?»

Я кивнул и ушел с лошадьми, не говоря ни слова.

Старый служака остановился, во время рассказа он выпустил трубку; тут он постучал по крышке, поковырял внутри трубки ножом, так что зола вылетела вон, и набил ее свежим табаком. Тогда он приложил к висевшему у него за поясом кремню кусочек губки и начал выбивать ножом огонь. Искры полетели; тлеющую губку, которая издала от себя какой-то приятный горький запах, он бросил в трубку и несколько раз затянулся.

– Я еще раз говорил с нею, – продолжал он. – Я пришел тогда в ее хижину. Старик был на барщине. Мы были одни. Когда я стал обнимать ее, она задрожала и заплакала так, что у меня выступила на губах кровь. Вдруг она рассмеялась.

«Подумай-ка, если б вместо тебя у меня был теперь барин, важный, богатый барин, – обратилась ко мне Катерина, – если б он стал так вздыхать передо мною и ворочать глазами, как ты, вот-то было бы славно!..»

Говоря это, она положила обе руки на затылок, откинула назад голову и устремила глаза в потолок, точно во сне.

«Вот-то было бы удовольствие! – пробормотала она. – Барин! Других женщин он бьет плетью, как собак, а у меня – у меня он целует руки. Ты не веришь этому?»

О! Я верил этому как нельзя больше. Она видела, что я чуть не плакал, – и ей стало жалко; она приподняла у меня на лбу волосы и рассмеялась. Я продолжал молчать, тогда она вдруг встала и принялась расчесывать себе волосы.

«Что с тобою?! – вскричала она. – Не раздражай меня, или...» Ее глаза сверкнули гневом.

«Катерина, – сказал я, – подумай о вечности!»

Коланко повернулся на месте и с состраданием взглянул на старого слугу.

«О ней-то я и думаю, – возразила она. – Здесь мы живем короткое время, а там вечно».

– Ты, конечно, не поверил ей? – прервал старик рассказчика.

– Она под села ко мне, – продолжал старый слуга. – «Что сказал бы ты, Балабан, – начала она, – если б я здесь отдала себя барину, а там – тебе? Там и я тоже буду чистым духом. Здесь я ничто. Здесь я такая же женщина, как и все».

Она прищурила глаза и так плутовски засмеялась своими алыми губками, что меня мороз подрал по коже.

«Если б у тебя была усадьба, – сказала она, – если б ты мог держать для меня служанок и батраков, карету, четырех лошадей, если б ты мог возить мне из города дорогие камни и соболи, такие как носят барыни, – да, если б ты даже остался мужиком, да только у тебя были бы деньги, я никого больше не любила бы, кроме тебя, кроме одного тебя. Ты для меня самый милый на свете человек».

Она обняла меня за шею, плакала и целовала меня. У меня в груди как будто бы все замерло – так мне было горько. Я был словно преступник, которого заковали в цепи, а потом повесят и который потерял всякую надежду на спасение.

«Знаешь ли что? – проговорил наконец я. – Я уйду к гайдамакам, сделаюсь разбойником, для того чтоб у тебя были дорогие камни, золото и серебро, соболи и горностаевые шубы».

«Зачем? – сказала она и покачала головою. – Рано или поздно, а тебя все-таки поймут и повесят на виселице, а от барина я получу все так, что у него ни один волосок на голове не шелохнется. Рассуди сам, не лучше ли это?»

«Ты чересчур добра», – возразил я.

«Разумеется! – вскричала она. – Я не хочу, чтобы ты из-за меня умер». При этом она взяла меня за шею и долго целовала меня в мокрые от слез веки. В это время вошел отец, посмотрел на нас и поставил цеп в угол. Я поговорил с ним из вежливости несколько минут и затем вышел; это было вечером, на дворе было тихо, небо сверкало, Катерина шла возле меня, мы оба молчали, потом я пошел скорее. Она отстала, а я стал свистать, хотя мне этого и не хотелось.

Все это было задолго до тысяча восемьсот сорок восьмого года, надобно вам сказать. Тогда еще существовали крепостное право и барщина – и крестьянину немало приходилось выносить от барина.

В это время я был отправлен на несколько дней с обозом соли. Это было против положения³, против всякого права, но я молчал – это было нехорошо. Это было несчастье – и вот тут-то и началась для меня беда. Не следует ничего делать из слабости. Такой человек, кото-

³ Положение о барщине императора Иосифа II, которым утверждались и в то же время значительно уменьшались и ограничивались права помещиков.

рый действует против своего усмотрения, своей воли, своего чувства, будет потом небрежен в исполнении своего долга и бесчестен. Ну да слава богу, я вовремя исправился. Долг прежде всего – вот что.

– Да что же следовало-то тогда тебе делать? – спросил недовольным голосом картонный человек.

– Тяжелое это было время! – вскричал Коланко и вздохнул жалобно. – Станешь ты, бывало, говорить о своих правах, а отвечают тебе палкой. Худые времена. Вы, ребята, знаете об этом далеко не все.

– Ну и что же случилось, когда тебя отправили с обозом? – быстро спросил я, зная, что когда наши крестьяне начнут рассказывать про времена барщины, то этому не будет конца.

– Я долго не возвращался домой; а когда возвратился, то откуда только бралась у управителя для меня работа, а Катерина боязливо избегала меня. Наконец я встретил ее в церкви, мы совершенно случайно столкнулись друг с другом. У нее был шелковый платок на голове, а шея сверху донизу обвита кораллами; на ней была новая овечья шуба, от которой пахло за двадцать шагов. Едва она взглянула мне в лицо, как побелела, словно только что вычищенный шорный прибор.

«Ты хороша, – сказал я ей. – А где же мой головной платок?»

«Ищи его!» – вскричала она полугневно-полубоязливо.

Я взглянул на нее.

«Уж не задумал ли ты чего-нибудь против меня?» – спросила она.

«О нет! – отвечал я. – Ступай своей дорогой!»

Меня иногда посылали в лес рубить дрова. Мне хорошо было там. Когда ветер шумя проносился над вершинами и гнул к земле стебли, дятел долбил в стволы и надо мною в воздухе стоял коршун, шевеля по временам своими крыльями и вскрикивая, я лежал на спине, смотрел на небо – и у меня уже не болело сердце. Часто на меня нападала тоска; я вырыл под корнями дуба яму, складывал туда гроши за грошами – собирался купить себе ружье. Это длилось долго.

Во время рубки деревьев я встретился со старою Бригитой, она пришла сюда из Тулавы за тимьяном и, увидев меня, всплеснула руками.

«Ты рубишь здесь деревья, Балабан! – вскричала она. – А барин в это время взял себе в любовницы твою Катерину».

«Что ты говоришь! – возразил я. – Она у него в доме?»

«Конечно. Господи боже мой, вот-то была история, – продолжала она рассказывать. – Ключнице пришлось убираться как можно скорее, барин прогнал ее. Теперь командует эта Катерина. Приношу я на кухню грибы, гляжу, а она тут – вся голова у ней словно в бумажных колбасах, как у барыни, и длинное-предлинное платье, и курит она сигару, словно важный барин. Тут я взглянула на нее, а руки не поцеловала. “Разве ты не знаешь, что следует делать с моей рукой? – вскричала она. – Так вот же тебе!” Да как хлопнет меня по щеке, да еще не один раз, а два».

Вот что поведала мне старуха, а потом стала рассказывать, что Катерина живет теперь как барыня и одевается как княгиня, ест на серебре, ездит на лошадях и велит колотить людей, сколько ее душе угодно. «На то она и любовница!» – сказал я.

Я, надобно вам сказать, был тогда в лесу один; вот и пришло мне на ум, прости, Господи, мое согрешение, сделаться разбойником, гайдамаком, который поджигает господские усадьбы, а дворян прибывает гвоздями за руки и за ноги к овинам, как хищных птиц. Но совесть не давала мне покою – и везде, куда я ни шел и где я ни оставался, слышался голос, который говорил мне: «Чего ты хочешь, ты, крестьянин и сын крестьянина? Что ты станешь делать с ружьем? Или ты один хочешь вести войну с людьми?» Тогда я успокоился и кончил тем, что остался в деревне, но вот на что я решился: исполнять только свои обязанности и не выносить ничего против моего права.

Вот тут-то я встретился с Коланко, который катался по снегу, как привязанная на цепи собака. Моя Катерина велела отколотить его палкой за то, что не поклонился ей почтительно, как она требовала. Тут-то он мне и рассказал с жаром:

«Представьте себе, она командовала тогда, как настоящая барыня, да еще и больше. Знаем мы, как обращались тогда такие господа со своими женами! Двух учителей выписал для нее барин из города, один был француз. Она выучилась всему, чему только учат писцов или людей духовного звания; каждую неделю получала по почте кипу книг, все читала она, и газеты тоже. В комнате у нее стоял какой-то особенный ящик из отличнейшего дерева; она выучилась разыгрывать целую музыку; люди стояли у ней по вечерам под окошками и слушали».

Монгол плутовски засмеялся и стал шарить поленом в огне.

– Жизнь им, подумаешь! Такие люди даже и не помышляют о Божеском правосудии, – пробормотал он.

Старик закашлялся, и в груди у него заворчало, как у сердитого кота.

Старый служака мрачно глядел вперед; лицо его не выражало никакого участия к тому, что он слышал; оно было безотрадно и как бы оцепенело.

Мальчик взглянул на Монгола, не скрывая своего удивления.

– Что ты тарачишь на меня глаза? – спросил Монгол и сдвинул свое желтое лицо с желтым маленьким носом с огромными ноздрями, так что на нем образовались глубокие складки.

– Как это ты умудряешься, дядя Монгол, – сказал мальчик, – чтоб дождь не вливался тебе в нос!

Весь кружок засмеялся. Монгол поймал мальчика за ухо, слегка потянул его к себе и потом также тихо выпустил.

– Жалко тебе было твоей возлюбленной? – спросил я отставного солдата. – Горько было тебе тогда?

– Да как вам сказать, – отвечал он, покуривая из своей трубки, – я и не думал мстить ей, но всякий раз, как мне приходилось иметь дело с господскими людьми, мною овладевал страшный гнев. Мне захотелось быть чем-нибудь получше – и я выучился читать и писать, а также считать. Я был слишком велик, чтоб ходить в школу, поэтому и стал учиться у дьячка, которому носил за это то курочку, то жирного гуська, а то и контрабандного табаку из Цигета. Чего я только не перечел тогда. Прочел Священное Писание, жития святых, историю царя Ивана Грозного, грамоты императрицы Марии Терезии, императора Иосифа и императора Франца, прочел также несколько законов и стал писать крестьянам просьбы, которые они подавали в уездный суд. В целом округе не было никого, кто сумел бы так сильно восстановить народ против дворянства, против этих господ, этих поляков, как я. В одной нашей деревне заводилось больше тяжб, чем в целой Галиции, – и все это писал я.

Когда господин староста делал объезд, ему везде попадались люди с жалобами – и ни одно-то дело не обходилось без меня. Где я мог ограничить хоть сколько-нибудь самовластие помещика, я это делал. Мое сердце ликовало при этом, как голубь. Они, конечно, называли меня писакой и грозили мне, но все меня боялись, и никто не решался предпринять что-нибудь против.

– Он колотил барских казаков!⁴ – вскричал с громким смехом Монгол. – Он безо всякой причины колотил их в шинках и на дороге, везде, где только они ему попадались. «За то, что вы барские угодники!» – кричал он им при этом. «Но подумай...» – «Вы-то подумали ли, что делаете? С барского двора вы или нет?» – «Но...» – «Вы хотите отпереться...» – «Нет!» – «Ну так вы заслуживаете». – «Да, но если б всякий, кто заслуживает удары, получал их, милый, –

⁴ В старой Польше у всякого дворянина сколько-нибудь посильнее были свои солдаты, обыкновенно казаки, да и теперь еще в каждой барской усадьбе вы встретите несколько служителей в казацкой одежде.

кричали казаки, – то через год не осталось бы ни одного орехового дерева в государстве – столько палок тебе понадобилось бы».

Старый служака засмеялся.

– Кончилось тем, что управляющий позвал меня к себе, – продолжал он, – обругал меня возмутителем крестьян, писакой, бунтовщиком, гайдамаком. «На скамейку его!» – закричал он изо всех сил так, что лицо налилось кровью, и спрятался за других.

«Как бы не так, – заговорили казаки, – да он убьет насмерть каждого, кто только подступится к нему». И никто не осмеливался наложить на меня руку.

Тогда управляющий с пеной у рта, с разлетевшимися по сторонам волосами, с побелевшими от злости глазами сам кинулся на меня с палкой. Я схватил его за руку и отвел ее назад, так что она затрещала, как трубочная головка, когда ее вертишь кругом и она пускает из себя табачный сок.

Беру у него тихонько палку, ставлю ее в угол, само собою разумеется самым наивежливым образом – ведь это все-таки было начальство.

После этого меня было совсем оставили в покое, как тут черт дернул меня встретиться на улице с моей барыней-любовницей. Ее карета завязла в грязи, кучер сидел на козлах и что было мочи колотил лошадей. Когда она увидала меня, то бросилась в угол, прижалась там, как кошка, и задрожала. Я посмотрел на нее.

«Эй, малый, помоги нам!» – закричал кучер.

Я помог, вытащил маленькую карету из грязи и толкнул ее вперед, потом взял кнут у кучера и несколько раз стегнул его – за то, что он так дурно вез «барыню».

С этого дня она не имела покоя, я знаю это; поэтому-то она и велела записать меня в солдаты.

В это время наше село ставило рекрутов, – продолжал старый служака. – Казаки потащили меня на барский двор, там стоял деревянный столб, меня раздели донага, измерили, лекарь постучал мне в грудь, заглянул мне в рот, потом меня записали, и все было кончено; моя мать стояла на коленях перед управляющим, у моего отца тихо катились по щекам слезы, а *та* стояла у окна и смотрела без жалости, как я дрожал там жалкий, беспомощный, в том виде, как Бог создал меня. Я плакал от бешенства, да что проку-то в этом! Денег у меня не было. Меня тут же на месте заставили присягнуть и надели на меня казенную фуражку. Я стал солдатом. Когда мы уходили, все плакали нам вслед, и рекруты тоже плакали. У каждого из них были на груди крест и маленький мешочек с землею, которую он выкопал под порогом своей избы. Барабан забил, капрал отдал приказ маршировать, мы шли как собаки на своре; они все пели песню – и какая же это была печальная песня! Я шел тихо, и вот когда мы шли таким образом все дальше да дальше, а деревня, лес и церковь исчезли из глаз наших и я уже не видал ничего своего, я стал обдумывать все, что было, и решил: «Хорошо, ты служишь теперь императору; по крайней мере, знаешь, кому принадлежишь».

– А каково тебе было в солдатах? – спросил я его.

– Хорошо, сударь, – отвечал старый служака, и в глазах его блеснуло удовольствие. – Хорошо. От меня ведь требовали только то, что было моей обязанностью, – ни больше ни меньше, – и я охотно делал это. Теперь я мог считать себя человеком. Сперва пришли мы в Коломью, стали учиться ружейным приемам, сперва по одиночке, а потом вместе с другими. Когда я выучился этому – вот тут-то я возгордился и начал желать войны.

Вместе с этим я убедился тут, в уездном городе, что есть на свете порядок; нас держали строго, но справедливо. Тут не было незаслуженного наказания и незаслуженной награды – и люди в городе смотрели на солдат как бы с уважением. А когда я стоял на карауле перед уездным судом и слушал крестьян, как они между собою разговаривали и как находили себе тут защиту и помощь против поляков, тогда я взглянул на находившегося над воротами орла

и подумал: «Ты, конечно, птица не большая, и у тебя не большие крылья, но все-таки они довольно велики для того, чтоб защитить целый народ».

Когда мы после этого маршировали на плац-параде и у нас над головами развевалось знамя с черным орлом, стоило только мне взглянуть на него – и у меня становилось весело на сердце.

Мы жили в полку как дома в общине, все для одного и один для всех; честному человеку мы помогали, а негодяев наказывали промеж себя. Ночью, когда офицеры и господа фельдфебели спали у себя на квартирах, мы собирались безо всякого шума в кучу и творили суд над вором, обманщиком, шулером, пьяницей, которые вредили роте и бесчестили ее, и мы действовали гораздо успешнее господина профоса с его палкой и кандалами.

Так прошел год, а пожалуй и с лишком; тут мы надели однажды свои ранцы и отправились в Венгрию, из Венгрии в Богемию, а из Богемии в Штейермарк. Вот таким-то образом, служа в солдатах, и увидишь с течением времени различные земли, которые все принадлежат нашему императору, и различных людей, и станешь скромн, увидишь, что дома не все обстоит наилучшим образом. Я увидел там больше благосостояния, больше правосудия, человечности и цивилизации⁵, чем у нас. Я научился уважать немцев и чехов, которые говорят на языке, похожем на наш.

Я видел святого Непомука в его серебряном гробу и видел также скалы, в которые заперли короля, и каменный мост с изображениями различных святых, откуда бросили его в воду, а над его головой всплыли на волнах пять пламенеющих звезд. В Штейермарке я видел людей, у которых было по две шеи.

Эта наивная этнография старого служак вызвала у меня невольную улыбку. Он заметил это и замолчал.

– Я помню, как ты пришел к нам в первый раз в отпуск, – заметил Коланко с чувством некоторого удовольствия. – Белый сюртук с голубыми отворотами дьявольски шел к тебе. Женщины следили за тобой глазами и шептались. Моя старуха говорила тогда, что Балабан – самый красивый мужчина на десять миль кругом, а она, как известно, знала в этом толк. Но он не хотел и слышать о женщинах.

– Вы ведь знаете, сударь, – обратился ко мне старый служак, – что в те времена наш солдат чуть не плакал, отправляясь в отпуск. Он оставлял дома рабство, барщину, произвол, нужду и, привыкнув к порядку, закону и благопристойности, возвращался опять к нужде и насилию. Когда делали переключку желающим идти в отпуск, вся рота стояла в молчании, только я, уж не знаю, что мне выпало на ум, выступил вперед и вызвался на это. Все взглянули на меня. Ну да будет! Довольно того, что меня отправили в отпуск.

Я пришел домой, к отцу. Когда вошел к нему в серой солдатской шинели и деревянной каске на голове, он устремил на меня глаза и поднял дрожащую руку к своим седым волосам. Я поцеловал ему руку.

«Хорошо, что ты тут», – сказал он.

Тут пришла мать, вскрикнула и засмеялась так, что у нее посыпались из глаз слезы. Я рассказал им про полк и про те земли, где стоял, а они рассказали мне про деревню и крестьян. Пришли соседи, много вина было тогда выпито.

Я был ко всему равнодушен. Я бродил по деревне, как больной. Никто не заговаривал со мною. Я тоже молчал и полагал, что помещик прогнал от себя Катерину, потому что все было тихо. С другой стороны, думалось мне, что если она еще при нем, то все-таки это скоро случится. Я желал этого, не знаю почему, а кажется, какое бы мне было дело до нее.

Часто я желал видеть ее в нужде, в несчастье и позоре – я помог бы ей тогда.

⁵ Это слово в употреблении между галицкими крестьянами и было произнесено на сейме 1861 года крестьянским депутатом, как и слово «гуманность».

Никто не произносил ее имени – и я не решался спросить о ней. В воскресенье, во время обедни, я взглянул как-то на хоры – и как вы думаете, кого я увидел там? Мою Катерину на барском месте. Как хороша была она!.. Далеко лучше, чем в прежнее время, но вместе с этим и как бледна, какой у нее был болезненный вид – она казалась утомленной, а глаза у нее были такие большие и темные, как у умирающей.

Лицо старого служаки осветилось каким-то странным тихим светом.

– Кровь застыла во мне, – продолжал он. – «Кто эта прекрасная дама?» – спросил я одного мальчика, который меня не знал. Он с удивлением взглянул на меня и сказал: «Это барыня, жена нашего помещика».

Барин в самом деле женился на ней законным образом, перед алтарем. Ну что же, он хорошо поступил, и она стала моей барыней.

Старый служака улыбнулся.

– Я мог бы встречаться с нею каждый день, – продолжал он. – Да какой из этого вышел бы толк! Вот я и пошел работать в другую деревню. Тем все и кончилось.

Старый служака замолчал, руки у него опустились, он устремил глаза на огонь, его смуглые черты приняли прежнее выражение строгости и равнодушия, а большие глаза загорелись тихим светом. Все молчали. Кругом царствовала глубочайшая тишина.

– Больше ничего и не было? – спросил я через несколько минут.

– Да, – застенчиво отвечал старый служака.

– Это правда, – сказал я, – в твоей истории действительно нет ничего особенного. Это случается всякий день и со всяким; особенное в твоей истории – это *ты сам*. Тебе никогда не хотелось мстить?

– Нет, – отвечал он тихим голосом. – Да и за что? Это в натуре вещей. Кому же стал бы я мстить за то, что я мужчина, а она женщина?

Его ответ поразил меня и еще более увеличил мое участие к нему.

– Так ты так и не получил удовлетворения? – спросил я.

– Ну нет, – отвечал он после некоторого размышления, – это было в сорок шестом году; я был тогда в отпуску; в это время произошло польское восстание, навлекшее ужаснейшие бедствия на нашу страну. Итак, дело было в последних числах февраля; зима стояла жестокая. В эту ночь особенно много выпало снега, все улицы и дороги занесло. Или нет, это случилось несколько позже. В эту минуту у меня как-то странно все мешается в голове. Я не с того начал. Вот как это было. Уже давно замечалась у нас какая-то тревога; помещики разъезжали взад и вперед, носились слухи о спрятанном где-то оружии.

В тулавском шинке собралось немало-таки крестьян, в том числе и судья, как вдруг является туда наш помещик и держит крестьянам такие речи: «Кого вы будете держаться: нас, дворян, или кого другого? Если вы желаете стоять за нас, то собирайтесь сегодня ночью у церкви, я достану для вас ружья и пойду с вами!»

В ответ на это судья сказал ему: «Мы ни под каким видом не станем стоять за вас, мы за Господа Бога и за нашего императора». Тут помещик удалился, а судья обратился к народу с речью: «Смотрите, чтоб никто из вас не вздумал стоять за этих живодеров и вступать с ними в союз!»

Наш помещик, тот самый, что женился на моей Катерине, прислал в шинок грамоту. Все посмотрели на нее, но никто не мог прочесть. Тогда судья сказал: «Позовите Балабана, он, так сказать, старый солдат, ему известно, как за это приняться». Вот и позвали меня, и я прочел им грамоту.

Вверху было написано: «Ко всем полякам, которые умеют читать».

Тут я не мог удержаться от смеха, потому что, во-первых, тут не было ни одного поляка, а во-вторых, ни одного человека, кроме меня, который умел бы читать. Тут было написано – вы ведь не забыли, конечно, этих комедий, которые тогда разыгрывались, – тут было написано:

«Крепостное право и барщина обязаны своим происхождением только насилию и неправде, потому что в прежние времена все люди были равны и дворяне были точно такими же поселянами, как и мы, а потом присвоили себе господство над нами и наконец продали всю страну москвитянам, Пруссии и императору, чиновники которого вместе с дворянами так обируют крестьянина, что он едва может утолять свой голод и прикрыться жалким куском холстины, император не имеет никакого понятия о польском крестьянине, он продает ему по дорогой цене соль и табак, для того чтоб ему было на что повеселиться в Вене. Помощь может прийти от одного только Бога; для этого надобно, чтоб все вы во всей стране восстали и схватились за оружие. Дворяне сознают свою неправду и желают соединиться с поселянами против императора и выгнать из нашего отечества немецких чиновников».

В этой грамоте было довольно много правды – и эта правда нам понравилась. «Но, – говорили мы между собою, – это не так, чистая комедия! Кто же и совершает над нами насилие, как не *дворяне*, – и если мы у кого находим себе защиту от них, то у *немецких чиновников* и нашего императора», а о поляках никто и слышать не хотел.

«Если вы последуете за дворянами, – сказал я, – они станут тогда пахать вами, крестьянами, как пахут теперь вашими волами. Но на всякий случай мы все-таки соберемся сегодня ночью в шинке».

Вот наступила ночь.

Я уже говорил, что зима была жестокая, а в эту ночь выпало особенно много снега, все было занесено, не видать было ни одной улицы, ни одной дорожки; в эту белую, светлую ночь одни только леса стояли, словно черные стены.

Мы собрались в шинке, и каждый принес с собою свой цеп или косу. Было около полуночи, я взял несколько крестьян и образовал дозор. Что тут было воплю и плачу со стороны крестьян! Все боялись, как бы все худо ни кончилось. Но я ободрил их: «Если мы будем мужественны и дадим надлежащий отпор, то там нечего бояться этих бунтовщиков!» Тут приехало несколько саней с дворянами, арендаторами и другою сволочью, которые ехали на барский двор. Завидев нас, они остановились, и один из них встал и закричал, что мы должны примкнуть к ним, что революция началась, что дворяне дарят крестьянам свободу, освобождают их от барщины и что нам следует напасть на императорскую кассу и жидов.

– Здесь нет изменников! – вскричал я. – Мы здесь стоим за Бога и императора.

Я еще не кончил, как поляки выстрелили в нас; две дробинки попали мне в живот, а одному крестьянину пуля угодила в ногу. Я закричал крестьянам: «Вперед!» Мы окружили поляков со всех сторон, вырвали их из саней и взяли их всех в плен; одному, который оборонялся, я нанес удар в голову, а больше никто не был ранен. Тут стали стрелять у шинка, я кинулся туда со всевозможною поспешностью, но когда я туда пришел, то и там все уже было кончено. Дворянин Бобровский лежал в крови на снегу, а наш помещик стоял в середине крестьян, которые нападали на него со всех сторон; они убили бы и его, если б я не пришел, у него уже лила кровь из головы. Я спас его.

– Ты?

– Я, сударь.

Мне было жалко, признаюсь откровенно, что крестьяне не убили его; но коль скоро я был тут, я не мог допустить этого. Поляки сказали бы, что я мстил за Катерину, и это бросило бы черную тень на наше дело.

Мы связали его по рукам и по ногам точно так же, как и других, бросили их в их же сани и отвезли всю эту дворянскую сволочь в уездный суд, в Коломыю, где я и сдал двадцать дворян, их деньги, часы и кольца – все, что при них было. О! Вот-то было славное дело, сударь! Война бедных людей против их притеснителей, и какой при этом везде порядок: на всех перекрестках наша стража, крестьяне в разорванных холстинных кафтанах являлись в окружной суд, вынимали из-за пазухи тысячи и передавали их туда все, до последней копейки. Мы обезоруживали

господ, несмотря на сыпавшиеся на нас выстрелы, и каждый из нас отдал бы всю свою кровь, каждый думал тогда, что теперь прекратится всякое различие: один человек будет так же свободен, как и другой, все будут равны, все! Как тут, на западе, начались убийства со стороны польских крестьян, к нам прислали множество войск. Все вышло иначе, чем мы ожидали. Но все-таки два года спустя крепостное право было уничтожено, а также и барщина – и крестьянин теперь человек свободный.

– Что случилось с вашим помещиком? – спросил я.

– Его сковали и отослали в крепость! – вскричал Коланко. – А его женушка утешалась с одним соседом, пока его не выпустили на свободу в сорок восьмом году⁶ вместе с другими польскими бунтовщиками.

– В это время я вторично поступил на службу, – сказал Балабан, – и отправился в полк. Тут открылась Венгерская кампания. Мы спустились зимою с Карпатских гор, выиграли несколько сражений, а потом должны были возвратиться назад. Зима стояла жестокая; сколько тут замерзло на дороге людей! Лягут отдохнуть, да так улыбаясь и заснут. Затем мы опять принялись за мадьяр и гоняли их до тех пор, пока Кошут не убежал из Венгрии, как белка из лесу.

Это было замечательное время, сударь! Люди валились один за другим, кто от пули, кто от сабли; иной тонул или умирал на дороге, вынудив из-за пазухи мешочек с родной землей и поцеловав его. Всякому хотелось жить, только мне – нет, но я остался цел и невредим. Тут я стал во всем сомневаться. Где же справедливость? Потом я возвратился назад отставным солдатом, когда моего отца уже не было на свете.

– Не для нее?

– Это каким образом? – возразил Балабан, пожав плечами. – Я отставной солдат, а она барыня! Итак, я возвратился назад. Мой отец помер. Мать также. Я остался один. Земля была не занята, но все продано, начиная с хижины и кончая двумя фруктовыми деревьями. Как вы это находите? Ах, что тут было делать!

У меня всегда было пристрастие к животным, я любил разводить их, вот я и стал ходить за пчелами, изучил их свойства и устроил себе хорошенький пчельник; вы ведь знаете его. Потом вырастил себе двух больших собак, настоящих волков, да отец-то у них и в самом деле был волк, – и что это за собаки! Шерсть серая, а глаза так и сыпят ночью искры, ну да ведь вы знаете их, – и взял на себя должность полевого сторожа. И кот тоже завел!.. – Тут старый служака улыбнулся, как это бывает со всяким галицким крестьянином, когда он заговорит о кошках. – Я вытащил его из воды, ну да ведь вы знаете моего Мацека.

– На собак-то вам следовало бы взглянуть, сударь, – заметил с тихим завистливым удивлением картонный человек.

– Он заслуживает их, старый служака! – вскричал Коланко. – Такого полевого сторожа никогда еще у нас не было. Община может благодарить за это Бога.

– Пожалуйста, – заговорил старый служака, – не беспокойте барина подобными вещами.

– Нет, мне приятно слушать все, что до тебя касается, – возразил я.

– Слишком много чести.

– Да, вот он так уж исполняет свои обязанности! – сказал картонный человек с важностью и указал на Балабана. – Я не хвалю никого, но это истина. Воры боятся его, у пьяниц проходить хмель, когда они встретят его ночью. А если он собирает подати, то никакая комиссия в двадцать человек не сделает этого так скоро, как он один.

– Во время выборов в ландтаг крестьяне слушают его больше, чем судью и комиссара, – прибавил Монгол. – Если вы желаете быть выбраны в уезде, то скажите только старому служаке, сударь, – он может сделать из крестьян все, что захочет.

⁶ Всеобщая амнистия после венской Мартовской революции.

– Да сделайте же одолжение, соседи, – заговорил умоляющим тоном старый служака, – кто же из нас не сознает своего долга!

– Ну быть по-твоему, оставим это, – прохрипел Коланко. – А вот женщины-то... Ой-ой-ой! Но у него и тут своя мораль. Вот, например, у нас на селе есть девушка с рыжими волосами; хороша она, как звезда на небе, в графини бы ее, а она – она ветреница и ничего больше. Вот он и встретил ее ночью, когда она кралась из деревни. «Опять бежишь к кому-то? – обратился к ней Балабан. – И когда это ты перестанешь? Долго ли до беды, а там он и бросит тебя. Лучше возьми себе мужа». Она засмеялась. «Первого встречного, – говорит, – я не возьму, как бы он ни был хорош, но если *ты* захочешь меня в жены, то можешь взять сию же минуточку».

– А он?

– Он покачал головою и опять за проповедь.

– Он не хочет жениться, – сказал Мрак, которому должность караульщика не помешала выслушать весь этот рассказ.

– А-а! Он любит еще другую! – вскричал совершенно неожиданно еврей, который принял бодрый вид и подошел к нашему кружку. Его глупо-хитрое лицо исказилось отвратительным смехом.

– Друг мой, – сказал старый служака, не изменяя своего положения, – голова у тебя все равно что паровая баня, с языка у тебя каплет, а что каплет, он и сам не знает.

Мы все от души засмеялись. Мой еврей взглянул на меня с чувством особенного оскорбления, потянул вниз рукав своего сюртука, почистил себе колено ладонью, как-то порывисто подошел к лошадям и стал дергать их туда и сюда, так что они жалобно взглянули на него.

– Так ли это? – спросил Коланко старого служака с серьезным видом, прикоснувшись к нему.

– Правда ли это, что ты не можешь забыть ее? – заметил с некоторым колебанием картонный человек.

Старый служака молчал.

Он обратил к нам свое кроткое, честное, печальное лицо. Его глаза опять приняли то скорбное выражение, на которое больно глядеть. Мною овладело какое-то странное чувство; глубокая тишина природы переселилась и в мою душу, из глубины которой встало одно скорбное воспоминание, словно поднимавшийся от нашего огня дым. Чудно-прекрасная бледная головка, с раскидавшимися вокруг нее темными локонами, с полузакрытыми, нежно-робкими глазами поднялась из пепла.

– Какая глупость! Какая глупость! – вскричал Монгол, и все исчезло, а остававшуюся тень поглотил ярко вспыхнувший огонь.

– Наплевать тебе следует на разряженную Завальскую барыню! – вскричал картонный человек.

– Такой человек – и любит такую каналью, – вмешался опять Коланко.

– Потихе, вы уж слишком горячитесь, – холодно отвечал старый служака, он видимо побледнел и мрачно сдвинул брови. – Это естественно. Бедная девушка должна была мучиться, а тут она могла сделаться барыней. Это был красивый, статный мужчина – наш помещик. Что? Скажете, нет? Я был хорош, пока не было лучшего. Да стал ли бы я сам, например, служить маленькому князьку, если я могу служить императору? А это точь-в-точь тоже. Тут сердце ни при чем. Между мужчиною и женщиною сердце всего меньше значит. Разберем-ка это как следует. *Сердцем,*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.